

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 37

1986



Владимир КАРПЕКО

ПРЕДЗИМЬЕ

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 37

Владимир КАРПЕКО

ПРЕДЗИМЬЕ

СТИХИ

Москва. Издательство «ПРАВДА».
1986.

Владимир КАРПЕКО

Владимир Кириллович Карпеко родился в 1922 году в украинском городе Казатин, в семье железнодорожника.

В 1939 году, окончив школу, поступил в Ленинградский институт инженеров ж.-д. транспорта.

С 1941 и по 1945 год находился на фронтах Великой Отечественной войны, был разведчиком. Несколько раз ранен и контужен, награжден орденами и медалями.

После войны учился в Литературном ин-те им. А. М. Горького. В 1950 году вышла первая книжка. В последующие годы стихи и проза поэта издавались в нашей стране и за рубежом. В многочисленных фильмах звучат песни на слова Вл. Карпеко.

Основные издания: «Широкая дорога» (1950 г.), «Алексей Большаков» (1952 г.), «Еще про это» (1954 г.), «От сердца к сердцу» (1956 г.), «Лицом к огню» (1959 г.), «Такая моя планета» (1963 г.), «Дорога под небом» (1967 г.), «Пять лучей» (1968 г.), «Страницы памяти моей» (1970 г.), «Эхо гнева» (1974 г.), «Нашим Ярославнам» (1975 г.), «Просто жизнь» (1976 г.), «Без риска остаться живыми», книга повестей (в соавт. с И. Акимовым, 1968 г.), «Наследники гроз» (1981 г.), «Избранное» (1983 г.), «Черта» (1984 г.).

За книгу «Наследники гроз» Вл. Карпеко удостоен звания лауреата премии имени А. А. Фадеева.

В настоящий сборник вошли лучшие стихи поэта.

ФРОНТОВЫЕ СУВЕНИРЫ

Вот стол.
Среди бумаг и книг
нет сувениров фронтовых.
Да суть не в них!
Всё наше — с нами:
из дымной замети атак
я ничего не взял на память,—
я это помню
просто так.

ДОРОГА ПОД НЕБОМ

Короткой казалась дорога —
ее ограничила мгла.
Тревога, тревога, тревога
в щербатых воронках жила.

Казалось, дорога кончалась
в пятнадцати с чем-то шагах...
А низкое небо качалось,
качалось на наших штыках.

В тумане, от зарева рыжем,
прожекторов меркли мечи.
И — к черепу череп — булыжник
мерцал перед нами в ночи.

Прошли мы пятнадцать и двадцать,
и сотни, и тыщи шагов,
и небо устало качаться
на лезвиях наших штыков.

Не надо ни водки, ни хлеба —
упасть и лежать на спине...
Привал. Но качается небо —
по небу идем на войне.

По звездам идем и по солнцам,
топча каблуком облака...
А чья-то звезда оборвется,
и роте не хватит штыка.

И чья-то дорога короче,
чем та, что осталась живым,
чем та, что, быть может, пророчит
такую ж судьбу остальным.

Такие же вихри косые
могилы других заметут...
Но все Ярославны России
надеются, плачут и ждут.

Надейтесь... (О пулю споткнется!)
И плачьте... (Он рухнет ничком,
и горестно небо качнется
над этим последним штыком!)

«Дороге — конец...» — замирая,
мелькнет в голове у бойца,
Он так и затихнет, не зная,
что нет у дороги конца.

Затихнет, не зная, что следом
торопятся маршевики,
шагают, упавшее небо
успев подхватить на штыки.

НА ПЕРЕПРАВЕ

Мы отходили... Дым пожаров
стоял, как черная стена.
Над ледяной осенней Нарой
ругался хрипло старшина.

Он направлял угрюмо к броду
всех, уцелевших от огня.

Солдаты пробовали воду,
погоду чертову кляня.

А немец бил без передышки,
к снаряду рядом клал снаряд!
Кромешный ад... Не тот, из книжки,
уже не страшный Дантов ад!

Но адом — ад, а там, за речкой,
уж свой не сменишь гардероб,—
не баба ждет на теплой печке,
а тот же стылый ждет окоп.

И потому обмундировку
несли, раздевшись донага,
ремнями пристегнув к винтовке
приклад — вперед, штык на врага.

Одной рукой держа вещички,
сигали вниз из-под куста,
другой, как в бане, по привычке
прикрыв причинные места.

И старшина сказал со вздохом:
— Ну, энти фрица будут бить,
коли в таком переполохе
не забывают стыд прикрыть!

...Уже в Берлине, в сорок пятом,
когда кончали мы войну,
я вспомнил Нару, брод треклятый
и оптимиста старшину...

ЛЕИТЕНАНТ

Бой отгремел... Над утлым блиндажом
война еще покашливала сонно..
А взвод уж спал. И лишь связист ножом
копался в аппарате телефонном.

Хрипела неналаженная связь.
Но, даже весь вспотев от напряженья,
на лейтенанта спящего косясь,
он выбирал помягче выраженья.

Тот не терпел похабной руготни
и делал замечания солдатам,
лишь смутно понимавшим, в чем они
перед уставом были виноваты.

Быть может, кто-нибудь со стороны
над лейтенантом посмеялся б едко,
но дело в том, что на краю войны
«со стороны» бывают очень редко.

А тот, кто с ним атаки отбивал,
кто с ним бывал под артогнем жестоким,
покорно принимал, хоть забывал
лингвистики короткие уроки.

За то, что с ними он хлебнул всего,
за то, что не сробел в бою ни разу,
ему прощали грамотность его,
ему прощали вежливые фразы...

Ракеты, домерцав, сгущали тьму,
и залпы запоздалые стихали.
Спал лейтенант. И снился сон ему,
что люди стали говорить стихами.

ЖЕНЩИНАМ МОЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Триптих

1. Вы

Грешней колдуний в преисподней,
святей младенческих молитв,
богини! Бабы. Музы! Сводни —
о гении кастрюльных битв!
О языков стручковый перец,
о коммунальный лексикон!
О ненавистнейших соперниц
все обсуждаемый нейлон!..
Мне рисовали вас такими.
Что ж, может быть... Но это вы
руками нежными своими
вокруг Москвы копали рвы!

Но это вы душой следили,
как в надмосковной синеве
тревожный след чертили крылья
ушедших в небо сыновей!

Да, даже по московским скверам
пороховая мгла плыла...
Но как нетленна ваша вера
в нас, покидавших вас, была!

О платишек сиротских ситец!
Горьки на пенсию права...
«Простите, женщины, простите» —
шуршит могильная трава...

Как странно — волосы седые
в прическах ваших вижу я.
А ведь в альбомах — молодые,
двадцатилетние мужа.

2. Соперница

Она, как брустверы, горбата,
ужасна в профиль и анфас.
Она сквозь дверь военкомата
багровый глаз косит на вас.

Она призывна, как повестка,
лиловым чуть подведена.
Она всех юношей невеста,
и всех мужей она жена.

И в час, когда захороводит
она среди сполохов-огней,
мужчины, бросив вас, уходят,
уходят с ней, уходят к ней.

И уходящих топот мерный
глушит напутственная медь.
Она уводит самых верных
свои стальные песни петь.

В своих объятиях железных
их будет смертно целовать...
И с нею спорить бесполезно,
и бесполезно ревновать.

3. Лицом к лицу

Нет, никогда не угасала
людская память о войне...
Гудят военные вокзалы,
и эхо их гудит во мне.

И в этом гуле станционном
из слухов, правды и легенд —
не поезда, а эшелоны,
не пассажиры — контингент.

В теплушках нары и скамейки,
в теплушках удаль, боль и страх...
А на перроне — в телогрейках,
пальтишках, шубах, соболях.

Вокзал гудел, и был вначале
он пестр на слух, и пестр на вид:
там шубки, гордые, молчали,
а телогрейки — те навзрыд...

Но разом — колокол! По нервам
ударил колокола звон,
и остальных — от тех, что в сером, —
отъединил угрюмо он.

Он плыл и возвещал в печали,
что семафор уже открыт...
И телогрейки замолчали,
а шубки всхлипнули навзрыд.

Взлетел гудок, под сводом рея,
и повернулось колесо!
И нет ни шуб, ни телогреек,
и нету лиц — одно лицо!

Одно — дрожащее на стыках,
одно — у неба на щите,
одно — с Великой или Тихой
слезинкой скорби на щеке.

ТАКАЯ МОЯ ПЛАНЕТА

Уже грохотала эпоха,
эпоха кренилась круто...
Он в классе под общий хохот
«планету» с «планидой» спутал.

А был он щедр на улыбки —
пусть веселится братия!
И он совершал ошибки,
чтоб больше не повторять их.

И лишь поговорка эта
была ему как защита:
— Такая моя планета,
такая моя планида!

Мы пропадали в опере,
где тенор звенел, бисируя.
А он говорил «Эфиопия»,
а он говорил «Абиссиния».

Пылали дальние страны
рубинами перстней на Круппе...
И парень вставлял в свои планы
учебу в аэроклубе.

Все чаще и чаще в небе,
встречи реже и реже...
И вот — исчез, словно не был.
Где же он, друг наш? Где же?..

А он раскаленным летом
писал из-под стен Мадрида:
«Такая моя планета,
такая моя планида!»

О, как их встречала Родина!
Но, лишь отгремели овации,
в кителе с дыркой от ордена,
выгнанный из авиации,

в смятении и в печали
сжимая сухие губы,
он ехал в дальние дали,
из летчиков — в лесорубы.

Жгла, конечно, обида,
но главным было не это:
— Ладно — моя планида,
а как там моя планета?

Он чуял в газетном шорохе,
воздух времени нюхая,
как злобно пахнет порохом
пена в пивных Мюнхена.

Но, не привыкший нюнить,
твердил он одно: — Строй! —
...В шарахнувшемся ионе
из лагеря — прямо в строй.

В каких переплетах не был,
с неба почти не слезая!..
И в этом рычащем небе
подстерегла Косая...

У волжской твердыни рухнул
ИЛ его краснозвездный.
В госпитале хирургу
тихо сказал он:
— Поздно...

Амба!.. Песенка спета...
Осколком песня пробита...
Такая моя планета...
Такая моя планида...

Мы шли по земле, которой
он жизнь без остатка отдал,
по обожженной, черной,
истерзанной и голодной.

Я воинский долг исполнил,
но крепче, чем милой имя,
слова я его запомнил,
и стали они моими!

Земля рождена для света,
ее я не дам в обиду —
такая моя планета,
такая моя планида!

КЛИНОК

Клинок разведчика висит
над койкой на стене.

Он тускл и неказист на вид:
так, память о войне.
Он честно сухари пилил,
консервы открывал...

Но в снежной дымчатой пыли,
клинком сраженный, в т о й дали
убитый остывал!

Не выдал снег, не подсказал,
не скрипнул хрусткий снег,
и — лишь внезапные глаза
из-под взлетевших век!
И — лишь внезапные глаза,
и отблеск стали в них,
и неуспевшая слеза —
так краток смертный миг
был для него...

Но длится он
уж двадцать с лишним лет!
Все тот же сон,
все тот же сон,
и мне покоя нет!
Да нет, не жалость —
 суждено
ему в могиле тлеть:
он враг — и, значит, все равно,
и нечего жалеть!..

Но отчего ж мне снятся сны?
Один и тот же сон —
тот самый черный час войны:
Ночь... Снег... Клинок... И он...

И те внезапные глаза,
и отблеск стали в них,
и неуспевшая слеза —
так краток смертный миг!
Глаза! Глаза со всех сторон!
И не закрыть лица!..

Мертвец всех войн и всех времен
мне снится без конца...

Но в предрассветной сизой мгле
на крутизне стены
клинок спокойно спит в чехле:
клинку не снятся сны.

В МАЕ 45-го...

Был строг приговор трибунала,
и вздрогнул ээсовец тот.
Душонка его угадала
короткую фразу: «В расход!..»

Да, понял он, что это значит,
и нас ни о чем не просил,
и только на солнечный зайчик
тоскливо глазами косил;

на солнечный зайчик, который,
скакнув через яму в земле,
на лягнувшем брызнул затворе
и затрепетал на стволе...

А май бушевал повсеместно!
И черное око ствола
казалось совсем неуместным,
и яма ненужной была.

Но синяя жилка дрожала
на лбу, что уж начал потеть...

Мне чья-то ручонка мешала,
мешала его пожалеть.

Она, та ладошка, синела,
из снега торча на юру,
и тонко и страшно звенела
на лютом декабрьском ветру.

Был этой ладошкой проколот
насквозь я на том рубеже,
и снежный невыслышимый холод
в моей поселился душе...

Бои... Переправы... Границы...
И — залпы великого дня:

— По-бе-да!..—
Но этот, убийца,
стоял и глядел на меня.

Вокруг ликовала природа,
сирень распушилась уже...
Но снег сорок первого года
еще не растаял в душе.

И это она повелела,
сирени сплошной вопреки,
глядеть не сквозь прорезь прицела —
сквозь пальчики детской руки!

2 МАЯ 1945 ГОДА В БЕРЛИНЕ

Еще невнятна тишина,
еще в патронниках патроны,
и по привычке старшина
пригнувшись, мчится к батальону.

Еще косится автомат
на окон черные провалы,
еще «цивильные» дрожат
и не выходят из подвалов.

И, тишиною потрясен,
солдат, открывший миру двери,
не верит в день, в который он
четыре долгих года верил.

НА ПРАЗДНИКЕ ПОБЕДЫ

Оратор возносил нас до небес:
они, мол, были
в самом жарком деле!..
Но — все о прошлом:
«Были...

Знали...

Смели...»

И получалось из его словес,
как будто песню
мы свою отпели.

А мы спокойно слушали его
и не спешили осуждать за это.
Пусть будет так.
Пусть наша песня спета.
Но спета как!

И эхо какво!

ШУТ

Он, балансируя на лезвии,
был в меру трус и в меру храбр —
Ее Величества Поэзии
то ли король, а то ли раб.

Он сам-то знал, что — шут гороховый.
Но, забываясь, вжился в роль.
Вокруг заахали, заохали
и порешили, что — король!

Шут испугался не на шутку —
не роли, нет, — его пугал
привидевшийся на минутку
разоблачительный финал.

Но так заманчиво, заманчиво
звучали эти «ох!» и «ах!»...
И он неистово замалчивал
в душе попискивавший страх.

Он днем царит. И только ночью
в подушку плачет, плачет так...
Корону снять уже не хочет,
но и не может снять колпак!

* * *

Словно сам себе приснился,
встал, не зная, что к чему...
Двухмакушечным родился,
счастье прочили ему.

Золотистые кудряшки
разбежались, что огонь.
Бабкой вышита рубашка,
дедом дарена гармонь.

«Ах вы, сени мои, сени...»
Это ж сколько лет уже?
Никаких землетрясений
ни в судьбе и ни в душе!

Да и что в волнениях проку?
Шел по жизни он легко.
Не загадывал далёко
и вздыхал не глубоко.

Все-то в дом, а не из дому —
где дадут, а где урвет.
Жил по принципу простому:
«Умный в гору не пойдет...»

Так и шел — легко, беспечно,
жизнь — не жизнь, а сладкий сон:
поле, луг... А вот и речка.
Вот и лодочник: Харон...

ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ

Вот — приобрел я опыт жизненный.
С ним путь ровней как будто...

Но

уж никуда тебя не вызовет
сирень, проникшая в окно.

И пусть порой еще проскальзывал
лукавый чертик в душу...

Но

он, этот опыт, мне подсказывал,
что — нет! Нельзя! Запрещено!..

А мне б опять былые хлопоты,
ошибки лет веселых...

Но

еще от жизненного опыта
лекарств не изобретено!

Ну что ж — исполненный смирения,
судьбе я подчинился б...

Но

куда же денусь от сирени я,
заполонившей все окно?!

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

О середина золотая!
Не всем известно, что она —
не точка круга, что от края
всегда «равноудалена».

Остыв душой, во всем изверясь,
вокруг себя замкнешь ты круг,
где в середине будет серость
и — никаких уже «а вдруг...».

Нет! Золотая середина —
не место теплое в раю:
она — и снежный блеск вершины,
и вздох у бездны на краю.

ВОЛЧОК

Поэты все писали
про собак.
Казалось бы, старо уже...
Однако
я этот стих
оправдываю так:
у каждого была
с в о я собака...

Мой пес
обычным был
приблудным псом:
однажды я,
из школы возвращаясь,
его увидел вдруг —
на нем одном
дворовых всех собак
висела стая.
«На одного?!» —
вскипело все во мне.
И подлый враг —
недолго битва длилась —
бежал под градом
мстительных камней,
и восторжествовала
справедливость.
На рану пса
обильно йод я лил —
был никудышным
лекарем тогда я.
А он стоял
и даже не скулил,

с покорной терпеливостью
страдая...
Прижился пес.
Носился во дворе,
участвуя во всех
мальчишских играх.
И в каждой
нашей новой
был игре
то серым волком,
то слоном,
то тигром.
Каких, бог знает,
был он там кровей,
по-моему,
обычная дворняга.
Но верностью,
но честностью своей,
но преданностью,
смелостью,
отвагой
он был превыше
всех других пород:
любых болонок,
пуделей
и догов.
И от помойной ямы
до ворот —
я для него
был самым главным богом.

И, чтобы доказать,
что я не бог,
из зависти, конечно,
не иначе,
один пацан сказал:
— А вот слабо
Волчку залезть
по лестнице
чердачной!..

— Волчку слабо? —
завелся я.—
Ах так?!—
(Мы в детстве все
заводимся мгновенно.)

И в пять секунд
взлетевший на чердак,
я свистнул псу...
Но что это?
Измена?!
— Ко мне!!!—
И в голосе услышав гнев,
он завертелся,
заскулил тоскливо.
А я оттуда,
с чердака:
— Ко мне!
Ко мне, Волчок!—
кричал нетерпеливо.

И он — полз...
Ах, как он лез,
мой пес!
От напряжения
дрожали лапы...
Срывался...
И опять упрямо полз...
А я сидел на чердаке
и плакал...

Но он — долез!
И не скрывая слез,
по лестнице, по той,
по деревянной,
я на руках
его обратно снес
и возвратил
земле обетованной...

Ну, вот и все...
Но с той поры до сей,
во всех своих
исканьях и скитаньях,
я никогда
не проверял друзей
в придуманных
нарочно
испытаньях.

* * *

Когда устоявшихся мнений
ты вдруг прорываешь кольцо,
когда после долгих мучений
ты истины видишь лицо,

когда из мешанских предместий,
сияньем своим ослепя,
высокое небо созвездий
к себе поднимает тебя,

когда окрыленное чувство
свои предъявляет права, —
«Кошунство!

Кошунство!

Кошунство!» —

шипит, извиваясь, молва.

О, как она крыльям мешает!
Она ведь не только шипит —
она, ядовитая, жалит,
да так, что не всяк устоит!..

Пусть жалит! Пусть пытка и кара!
Но должен кошунствовать ты:
на сломанных крыльях Икара
лежит синева высоты.

ПРЕДЗИМЬЕ

Светлой памяти Назыма Хикмета,
многократного узника капиталистических тюрем.

Уже, кургузы и помяты,
ржавеют кучами листки.
Уже вопят о лжеопятах
полуистлевшие пеньки.

И сиротливо так, и пусто,
как будто, отняв от земли
и руки выкрутив до хруста,
куда-то лето увели...

Траву присохшую сминая,
бредем с Назымом сквозь лесок.

Он вспоминает, вспоминает
и потирает свой висок.

И так неприбранно-просторно,
и тихо-тихо так окрест,
как в доме брошенном, в котором
вчера был обыск и арест.

НОЧНОЙ ЛИВЕНЬ

Шел ночью ливень.
С тихим плеском
шел ливень чащею лесной.
Еще
застенчиво-небесный,
уже
настойчиво-земной.
Шел, разбазаривая роскошь
своих сокровищ неземных,
и, натолкнувшись на березку,
остановился — лишь на миг —
и развернулся!
В блеске,
в громе!
То затихая,
то хлеща!
Он был
то буен и нескромен,
то обещал и улещал!..

Она дрожала, никла, гнулась,
потом
от дерзкого него
она рванулась...
И вернулась,
вдруг отрешившись от всего.
Ей открывался
в то мгновенье
смысл —
пусть не полностью пока —
ее высокого паденья
туда куда-то,
в облака.
И длилась ночь.
Мерцало смутно
березы белое плечо...

Он от нее ушел под утро,
блестящим прошуршав плащом.
И вот —
сначала еле-еле,
потом сильнее,
шире,
сплошь —
вокруг шептаться стали ели,
что от судьбы, мол, не уйдешь!
Но, с шумом хвои не сливая
оторопелой немоты,
она стояла, как слепая,
не прикрывая наготы.
Что ей
их ропот затаенный?
Глуха к невнятной их толпе,
она молчала просветленно
и что-то слушала в себе.
Та —
и уже совсем иная.
Еще не здесь,
а где-то за...
И только горькая,
земная,
мерцала, чащу отражая,
необроненная слеза.

* * *

С. С.

Иссиня-синий день
и синих волн прохлада.
Вершин зубчатых сень
и облаков громада.

И в синеве густой,
где облака витали, —
твой профиль золотой,
как будто на медали.

Казалось мне: люблю
тебя уже веками
и этот день врублю
я в память, словно в камень!

Но, рушась тяжело,
стирает камни море...
О, сколько лет прошло
и в радости, и в горе!

О, сколько лет — не счесть,
как я ушел отсюда!..
И вот я снова здесь.
Так совершись же, чудо!

И, синевою всклень,
заполнив неба чашу,
иссиня-синий день
вернул мне день вчерашний!

И в синеве густой,
где облака витали,—
твой профиль золотой,
как будто на медали,
и та же моря даль,
и облаков громада...

И только та медаль —
уж не моя награда!

ЦЕНА

«Кто к торгу страстному приступит?
Свою любовь я продаю;
Скажите: кто меж вами купит
Ценою жизни ночь мою?...»

А. С. Пушкин, «Египетские ночи».

Когда настал
мой срок в судьбе
влюбляться в женщин,
я намечтал
богинь себе —
никак не меньше.
Они являлись предо мной
в стихах и в прозе,
и мраморною белизной,
и в звонкой бронзе.
Я среди тех богинь витал
мечтой крамольной...

А над площадкой мяч летал,
над волейбольной!
И не в тунике золотой —
в простой кофтенке
резвилась на площадке той,
смеясь, девчонка...
Ах, если б знать,
что этот смех —
знать все с начала! —
ваятельница жизней всех
мне назначала!
Тебя,
не знаю, из чего
она слепила...
Но ты пришла,
как торжество,
и — ослепила!
Что холод
мраморных богинь?
Я знаю ныне:
вся их божественность —
польнь!
Лишь ты — богиня!
Свежа,
как в капельках дождя
цветок жасмина,
ты,
мимо тех богинь пройдя,
их всех затмила!
И было все наоборот:
не мрамор — тело!
Но —
отдаваясь —
с тех высот
ты не слетела;
был снежных облаков восторг,
а не перина!
Богини затевали торг,
а ты — дарила!
Средь бела дня и при луне,
забыв престижность,
ты алость губ дарила мне
и челки рыжесть,
дарила мне страстей костры
пороку вешней...

Чем заслужил я те дары,
земной и грешный?
О, не спеши,
О, не спеши
раздать всю милость:
дари не только жар души —
дари остылость,
я жаден —
для моей любви
все много значит:
и солнце, что гудит в крови,
и — отблеск, зайчик;
ты вспльчивости миг дари
и гнева сцену...

Я отплачу за все дары —
я помню цену!

* * *

Я не помню причины обиды,
да и ты позабыла ее.
Но, упрямая, в пальцах сердитых
нервно зеркальце вертишь свое.

Передернув капризно плечами,
положила его на столе.
Ах, какие озера печали
отразились в зеркальном стекле!

Как трагично слезинка скатилась
по щеке белоснежной твоей!..
Но украдкой ты покосилась
на меня из-под скорбных бровей.

И, раскаявшись в этом движеньи,
покраснела, свой взгляд отводя,
и двоилось твое отраженье,
за моим впечатленьем следя.

Вот взглянула опять торопливо...
Но, свой опыт скопив по грошу,
если женщина плачет красиво,
я поверить слезам не спешу.

* * *

Тамаре

...Вот мы опять
сидим вдвоем с тобой.
Когда бы знать,
что может
быть такое:
мир в наших душах
и покой...
А боль —
там,
глубоко,
на самом дне покоя.

В твоей прическе
нити седины...
Ну, что ж,
мы ничего
не забываем —
мы только
ран заживших не вскрываем,
нелегким грузом лет
умудрены.

С тех дней,
когда
была душа в крови,
мы постигали
среди житейских буден,
как близок путь
от дружбы
до любви,
а к дружбе
от любви —
далек и труден!

* * *

Когда твоя душа мертва,
не сей в ней новой страсти зерна, —
они, в ней легшие покорно,
умрут, проклюнувшись едва.

Когда твоя душа мертва,
не говори слова пустые,—
в сухой песок ее пустыни
уйдут беспamięтно слова.

Когда твоя душа мертва,
не сей в ней зерна сожаленья,—
пусть прорастет сперва забвенья
неумолимая трава...

...И жизнь войдет в свои права.

НАКАНУНЕ

Уже ручьи звенели льдинами,
а над долинами опять
зима крылами лебедиными
пыталась тихо трепетать.

Как умирать зиме не хочется!..
Но, разметав свои крыла
по всем овражкам и по рошицам,
под вешний гомон умерла.

Последний снег печальным лебедем
весь день метался, сам не свой,
над умершей в ручейном лепете,
над белой лебедью-зимой.

И, к рошам припадая с трепетом,
он таял в царственной тоске...
А где-то лето рыжим стрепетом
уже кружило вдалеке.

РЕЧУШКА

Над мягкой мшистой колыбелью,
где бил родник ее судьбы,
по-бабы ивы шелестели,
гудели по-мужски дубы,

и рошицы березок белых
в пути речушку берегли,
чтоб солнца яростные стрелы
убить певунью не могли,

чтобы она не затерялась,
в сухих песках сойдя на нет...

А той речушке все казалось,
что ей деревья застыт свет.

* * *

Осенний лес накрыт тяжелой тучей.
Осинок тонкоствольных голытьба
окружена шиповником колючим,
как чья-то позабытая судьба.

И редко-редко, как надежды промельк,
два-три листочка желтых ловит взгляд.
Они, случайно задержавшись в кроне,
как солнечные зайчики висят.

Рябины на ветру пылают яро.
Огнем их перекрыты все пути.
И хочется из этого пожара
кого-то безымянного спасти.

КОСТЕР

Сухие сучья накрест сложат,
бересты сунут вниз клочок,
и вот, несмел и осторожен,
ты кажешь красный язычок

и снова прячешь на мгновенье,
испуган дерзостью своей,
успев, однако, одобренье
прочесть на лицах у людей.

И тем вниманьем ободренный,
уже смелей из-под коры
высовываешь восхищенно
задорно-рыжие вихры.

Ты приобвык уже немножко,
набрал порядком высоты,
и вот уж в синеньких сапожках
в веселый пляс пустился ты.

Но, как ни прыгаешь, играя,
свою доказывая прыть,
тебе еще не доверяют
тяжелый чайник кипятить.

Еще ты молод и не крепок,
трещишь без умолку зазя
(Среди сухих смолистых щепок
немало было и сыря).

Еще дымишь!.. Но время будет,
когда ты жарко и светло
начнешь пылать уже, и люди
твое почувствуют тепло.

И будут встречи и разлуки,
перебывает сколько тут!
Иные лишь погреют руки
и, равнодушные, уйдут.

Другие дров тебе подбавят
и помянут тебя добром,
и, если надобно, поправят,
чтоб ровным, цельным был костром.

Пусть пепла сединой одеться
придет когда-нибудь пора,—
все так же жарко будет сердце
у отгоревшего костра.

Но, и дотлев наполовину,
он доживет до той поры,
когда придут и сердце вынут
и на других привалах кинут...

И вспыхнут новые костры!

МУЗЫКА

Литая медь стволов сосновых
чугунной стала в час ночной.
Лес, утонув в снегах пуховых,
морозной полон тишиной.

Лишь белотелые березы,
такие хрупкие на вид,
порой заропщут на морозы,
да ель зубами заскрипит.

В ответ ей эхо ухнет гулко,
и снова тишь... Но вся она,
как музыкальная шкатулка,
мелодией начинена.

Весь лес, застенчивый и гордый,
звнящей тишью той налит,
как пауза перед аккордом,
который душу опалит.

И на холодных струнах лунных
остро мерцающих лучей
лежит мотив смычков чугунных,
еще неслышный и ничей.

Он ждет, безгласный и безвестный,
лишь вдохновенья моего...
Так оживи, проснись, воскресни!
Я разрешаю торжество.

Звучи! В березах белокорых
пусть оживают предо мной
все лебединые озера
великой музыки лесной!

Сосулек звонкое стаккато
разлейте, лунные лучи,
в лесную Аппassionату...
Звучи же, музыка, звучи!

Смешай и слей в едином хоре
лучи и сосны, тень и свет.
Я — твой Чайковский, твой Бетховен!
А без меня — тебя и нет!

БЕСПЕЧАЛЬНО-ЮНЫМ

Еще виски вам не куржавела
крутая вьюга бытия,
еще вас ласково не жалила
сочувствий скользкая змея,

и вы у книжных полок шарите
глазами по названиям книг,
где мыльных слов цветные шарики
вовсю расцветчивают стих...

А жизнь идет. Бывает всякое.
Вы вдруг откроете себе,
что друг ваш оказался «блякою»,
что и в погоде, и в судьбе,

помимо солнечных, ненастные
бывают (и нередко!) дни...
И лопнут шарики цветастые:
миг — и уж нет их. Где они?

Тогда придут к вам годы трезвые,
и срок придет иным словам.
И черный хлеб моей поэзии,
быть может, пригодится вам.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Фронтовые сувениры	3
Дорога под небом	3
На переправе	4
Лейтенант	5
Женщинам моего поколения	6
Такая моя планета	8
Клинок	10
В мае 45-го...	12
2 мая 1945 года в Берлине	13
На празднике Победы	13
Шут	14
«Словно сам себе приснился...»	14
Жизненный опыт	15
Золотая середина	15
Волчок	16
«Когда устоявшихся мнений...»	19
Предзимье	19
Ночной ливень	20
«Иссиня-синий день...»	21
Цена	22
«Я не помню причины обиды...»	24
«...Вот мы опять...»	25
«Когда твоя душа мертва...»	25
Накануне	26
Речушка	26
«Осенний день накрыт тяжелой тучей...»	27
Костер	27
Музыка	28
Беспечально-юным	29

Владимир Кириллович КАРПЕКО

ПРЕДЗИМЬЕ

Редактор Б. А. Леонов

Технический редактор О.Н. Ласточкина

Сдано в набор 28.05.86. Подписано к печати
06.08.86. А 00709. Формат $70 \times 108^{1/32}$.
Бумага газетная. Гарнитура «Школьная».
Офсетная печать. Усл. печ. л. 1,40. Учетно-
изд. л. 1,54. Усл. кр.-отт. 1,58. Тираж
80 000 экз. Изд. № 2165. Заказ № 3082.
Цена 15 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской
Революции типография имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда». 125865,
ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

● В результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей происходит ежегодно 18% всех пожаров.

● Несчастье, как правило, приходит в те дома, где отопительные печи давно не ремонтировались, а значит, покрылись трещинами, отвалились или едва держатся дверцы топливника, где для розжига отсыревших дров применяли легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, где забыли защитить сгораемый пол перед топкой металлическим листом.

● Наиболее часто печи становятся причиной пожара, когда их оставляют во время топки без надзора.

● В морозные дни печи нередко от длительной топки перекаливаются до такой степени, что находящиеся в соприкосновении с ними сгораемые материалы, конструкции здания обугливаются и воспламеняются.

● Правилами предусмотрено, чтобы при проходе дымовой трубы печи через деревянные чердачные или междуэтажные перекрытия имелось утолщение кирпичной кладки (разделка) толщиной 51 см.

Соблюдайте правила устройства и эксплуатации печей!

Центральный совет Всероссийского добровольного пожарного общества